

# Рецензии

## Приглашение всмотреться: две обложки книги Алейды Ассман

Алейда Ассман. *Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика*. Пер. с нем. Бориса Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 328 с. ISBN 978–5–4448–0146–8.

*Наталья Веселкова\**

Вышедшая в 2006 г. на немецком языке книга Алейды Ассман и визуально, и вербально начинается с провокационной инсталляции Хорста Хоайзеля<sup>1</sup>. 27 января 1997 г., когда в Германии отмечали День памяти жертв Холокоста, приуроченный к освобождению Аушвица, Х. Хоайзель наложил на Бранденбургские ворота световую проекцию ворот лагеря Аушвиц, пишет Ассман во Введении (с. 8). Вынесенная на обложку в 2006 г. фотография перформанса 1997 г. дает почву размышлениям о том, как мимолетный художественный жест входит в материальные накопители памяти.

С этого же момента, но только удаленного на полтора десятка лет и перенесенного в вузовские аудитории Екатеринбурга, хотелось бы начать и разговор об этой книге, вышедшей в русском переводе в 2014 г.

С первого брошенного на картинку<sup>2</sup> взгляда идея не распознается, как показали три пробных обсуждения со студентами двух екатеринбургских университетов (никто из участников не бывал в Германии и не знает немецкого языка). Начальные предположения связывают изображение с объектом современного искусства, чем, собственно, и является инсталляция Хоайзеля. Сооружение опознается как триумфальная арка где-то в Европе, название на немецком языке локализует его в Германии. Отсюда, через несколько шагов, но довольно скоро, возникает предположение о концлагере.

Если рассмотреть восприятие обложки в терминах Гернота Беме (см.: Рождественская, 2012, с. 187–194), получим следующее. Гипертекстуальность работает только на самом поверхностном уровне — в наложении одной фигуры на другую узнаются приемы современных световых шоу. Референциальность, то есть отсылка к той длинной тени, которую отбрасывает Аушвиц/Освенцим на Бранденбургские ворота, не срабатывает вовсе, поскольку ни надпись «Arbeit macht frei», ни прихотливый изгиб верхней части ворот в концлагерь сами по себе ничего не говорят молодым людям. Раз не прочитываются эти, казалось бы, кричащие коды, то не выполняется и коммуникативная функция изображения. Участники обсуждения — изучающие маркетинг территорий

---

\* Веселкова Наталья, кандидат социологических наук, доцент Института Социальных и Политических Наук УрФУ. vesselkova@mail.ru.

<sup>1</sup> См., напр.: URL: <http://www.amazon.de/lange-Schatten-Vergangenheit-Erinnerungskultur-Schichtspolitik/dp/3406549624> (дата обращения: 14.11.2014).

<sup>2</sup> Помимо изображения оригинальной обложки, использовали фотографии световой проекции Х. Хоайзеля с сайта Центра исследований Холокоста и геноцида университета Миннесоты. См.: Removal of the Brandenburg Gate // Center for Holocaust and Genocide Studies. University of Minnesota. URL: <http://www.chgs.umn.edu/museum/memorials/hoheisel/brandenburg.html> (дата обращения: 14.11.2014).

магистранты — сказали даже, что книга с такой обложкой сегодня воспринималась бы как туристический бюллетень, по крайней мере, на наших прилавках.

В этой ситуации удивительным становится не то, как далеки мы были от прочтения замысла в начале обсуждения, а то, что каждый раз все-таки до него добирались: коллективная память в нашей стране весьма прочно ассоциирует Германию с войной и концлагерями. В какой-то момент одна девушка внезапно «увидела» в проекции Хоайзеля надпись из Аушвица, вспомнив, что дома есть книжка с видом тех страшных ворот.

\* \* \*

Русскоязычный читатель раньше познакомился с работой историка Яна Ассмана (Ассман, 2004), который ввел основополагающее различие между культурной и коммуникативной памятью, решение элегантно в той же мере, что и схематичное — удел всех оппозиций. Алейда Ассман дробит эту дихотомию, получая, если делить по масштабу проработки, коллективную и индивидуальную память, по формату — политическую и культурную. Принципиальным шагом она считает сведение в одну таблицу нейронной, социальной и культурной памяти (с. 31). Действительно, многие исследователи памяти черпают вдохновение в новейших достижениях нейрологии, вот только почему-то на ум приходит сакраментальный вопрос, а «мыслит ли человек при помощи мозга?», но это уже совсем другая история.

С расширенной, по сравнению с дихотомией Яна Ассмана, концепцией Алейды Ассман я познакомилась несколько лет назад в написанной ею главе амстердамского сборника (Assman, 2010) и не могла избавиться от недоумения: зачем нужно было портить такую стройную схему? Четыре формата памяти: индивидуальная, социальная, политическая и коммуникативная, казалось, только вносят путаницу, не добавляя ничего существенного.

«Длинная тень прошлого», более ранняя и программная в данной тематике работа А. Ассман, вносит ясность в суть ее подхода. Социальную память она сводит к коммуникативной, тем самым кратковременной — семейной, поколенческой. А коллективную память мыслит как культурную, т. е. увековеченную в артефактах — национальную и политическую. Для социолога все обстоит ровно наоборот: коллективное — это скорее семья и другие групповые образования, а под социальным имплицитно все еще во многом фигурирует национальное (хоть Э. Гидденс<sup>3</sup> столько усилий и прилагал, чтобы показать, что общество уже не сводится к нации-государству). В таком терминологическом решении сквозит традиция восприятия социального как чего-то если не наносного и вторичного, то уж точно ограниченного — во времени, масштабе и т. п. Пожалуй, стоит также принять во внимание и нюансы западного и отечественного восприятия «социального» и «коллективного». Если в обиходном западном понимании социализироваться значит общаться, коммуницировать, а коллектив и коллективность — это что-то очень отдаленное от индивида и формализованное, то в привычном нам понимании скорее наоборот. Так или иначе, все различия все равно вращаются вдоль оси коммуникативной/культурной памяти. В коммуникативной А. Ассман особо подчеркивает сферу семейной, межпоколенной связи, зачастую спрятанную в коконе частного, противопоставляя ее публичности политической памяти.

Впрочем, за пределами самой первой, вводящей теоретические основания, главы, автор уходит от систематического разделения видов памяти. Зато «социальные рамки памяти» М. Хальбвакса фигурируют в разных главах книги, получая, бесспорно, мощное продвижение, если не вторую жизнь. В трактовке А. Ассман они выглядят все более инструментальными и нормативными. Это в буквальном смысле рамки дозволенного. К каким воспоминаниям, каким образом выстроенным и сакцентированным, общество

<sup>3</sup> Не только он, конечно же, но у Э. Гидденса это прописано на уровне хрестоматийных учебников.



готово сегодня, а к каким еще нет? Какую проблематизацию пропустят, а за какую можно поплатиться? (Будь у исследовательницы под рукой пример с коллизией вокруг вопроса телеканала «Дождь» о блокаде Ленинграда, лучшего сюжета не стоило бы и желать.) С другой стороны, рамки памяти выступают в качестве канонов коммемораций. Тому, что идеи Хальбвакса почти вековой давности так дивно питают современные студии, конечно же, стоит порадоваться, а вот тому, что становятся при этом все менее узнаваемыми, вряд ли. Возможно, автору стоило более настойчиво отмежеваться от французского социолога, а то и придумать собственную терминологию?

На смену идеологии, с которой критически мыслящим людям все было ясно — ложное сознание, пришла коллективная память, считает А. Ассман, и ругать эту форму коллективного сознания уже не принято, хотя не все с ней так просто: воспоминания конструируются. Чувствуется, что автору нелегко было свыкнуться с мыслью: все есть конструкция. Такая очевидная в логике теорий социального конструирования реальности, эта идея требует многих усилий, чтобы прийти к ней извне. Ассман словно пытается убедить, похоже, прежде всего саму себя, что в конструировании нет ничего плохого. Конструировать, например воспоминания, — не значит создавать подделку, что-то искусственное, наносное поверх подлинного, ибо любое воспоминание суть конструкция.

Предельный случай такой работы памяти — подмена личности. В четвертой главе «Ложные воспоминания: патология идентичности в конце XX века» разбираются два потрясающих примера перелицовки биографии (с. 147). Всплывающие было аналогии с биографизированием С. Подлубного быстро разрушаются: здесь самодовлеющая история.

Продуктивным представляется различие Я-память и меня-память, развитое из подхваченной у Гюнтера Грасса фразы: я ли вспоминаю, или что-то вспоминает меня? Интересны пересечения между живой памятью-опытом и культурной памятью, систематизированные в одноименной восьмой главе. Сердцевиной всех рассуждений является травма страданий немцев в результате войны. Долгое время для этой темы не было места, одобренные в политической памяти рамки не допускали ее в публичное пространство. Самый болезненный вопрос: не затмит ли память о страданиях память вины? — немецкой исследовательнице очень хочется решить в позитивном, оптимистическом ключе. Следует отдать должное: она мужественно пытается сохранять беспристрастность, говоря: не следует недооценивать склонность немцев уйти от ответственности через роль жертвы (с. 218). Опора видится в глобальной памяти, однако сама же Ассман подмывает основания этого фундамента, указывая на неукорененность памяти о Холокосте в Америке, где его не было. Чтобы все-таки продвинуться к сбалансированному сосуществованию этих памятей — так, чтобы перенесение в публичное пространство и растущее переживание страданий не привело к угасанию переживания вины, книга предлагает семь правил толерантного обращения с коллективной памятью, как «подлежащие всеобщему признанию принципы» (с. 292).

В свое время в ответ на растущую популярность концепции мест памяти появилась критика, утверждавшая, что проект Пьера Нора — слишком французский (см., напр.: Джадт, 2011), чтобы претендовать на универсальность. Не углубляясь в эту дискуссию, полагаю, что с подобной меркой полезно подойти и к творению Ассман. Ее аналитические построения в области мемориальной культуры и исторической политики, безусловно, претендуют на универсальность. Однако, взращенные на специфичном опыте Германии, может быть, они и применимы большей частью именно к немецкой памяти? Ответ на вопрос о методологическом потенциале концепции могут дать только дальнейшие исследования с ее применением. На мой же взгляд, сама наполненность немецкой историей «Длинной тени прошлого» является не ограничителем, а приглашением, или вызовом всмотреться — что же там, в прорехах триумфальных арок?

Снова жаль первоначальной обложки, хотя наши упражнения со студентами и продемонстрировали, что решение российского издания несомненно более уместно для своей аудитории. Признаться, меня вполне устраивало оформление книги, созданное издательством Новое литературное обозрение, пока не нашла в Интернете версию оригинала 2006 г. Почему ее не сохранили — опасались, что российский читатель не уловил бы смысла бриколажа? Тогда и возникла мысль узнать, а что видят в ней мои студенты? А видят они много существенного. Ворота как символ перехода из одного состояния, из привычно видимого мира в какой-то совсем другой. Поколения проезжают, сквозят в этих воротах, не замечая нависающего — либо парящего — над ними послания истории. Или все-таки замечают?

### **Литература**

Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. с нем. М. М. Сокольской. М.: Языки славянской культуры, 2004.

Джадт Т. «Места памяти» Пьера Нора: Чьи места? Чья память? // Империя и нация в зеркале исторической памяти / под ред. И. Герасимова, М. Могильнер, А. Семенова. М.: Новое издательство, 2011. С. 45–74.

Рождественская Е. Ю. Биографический метод в социологии. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012.

Assman A. Re-framing Memory: Between Individual and Collective Forms of Constructing the Past // Performing the Past: Memory, History, and Identity in Modern Europe / ed. by K. Tilmans. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010. P. 35–50.